



Самвела и целых три Вагифа. Это считалось уже избытком, перебором, поскольку создавало путаницу и подчас вызывало нелепые недоразумения – хоть смейся, хоть плачь.

Скажем, из соседнего двора к нам подсылали Рыжего Басмача – наголо бритого великана, дурня и уroda со зверским оскалом, вселявшим ужас из-за выдвинутой вперед нижней челюсти, – бить Вагифа. А какого именно – уточнить не удосуживались или попросту забывали. И от зверских рож, а также пудовых кулаков страдал *не тот* Вагиф.

Страдал невинный и непорочный, тот же прятался за помойкой и затыкал уши, чтобы не слышать истошные вопли своего несчастного тезки.

Словом, путаница, неразбериха...

Но когда я звал в окно: «Вагиф!» – то никакой путаницы не случилось и откликнулся именно ты, поскольку ни с Длинным Вагифом, ни с Коротышкой Вагифом мы не дружили. Да и какая могла быть дружба, если Длинный Вагиф, носивший турецкую феску, покрывал ногти лаком, словно коготка, и подкрашивал губы, а Коротышка Вагиф подавал шары в бильярдной, побирался на рынке и ел всякую дрянь, отчего пискляво икал, ходил с раздувшимся животом и его постоянно пучило.

Ты же для меня – и это все знали – был Вагиф Джан, Душа Вагиф, милый, дорогой, любезный сердцу. Иными словами, друг.

Дружба при всей ее стихийности подчиняется строгой закономерности теоремы Пифагора: она – квадрат гипотенузы, равный сумме квадратов двух катетов. Такие мысли приходили мне в голову, когда мы валялись на широком, плоском, покрытом ковром турецком диване среди твоих разбросанных в беспорядке, забрызганных фиолетовыми чернилами учебников, отщипывали виноград от вызревшей до золотистой патины грозди и я натаскивал тебя по геометрии, которую ты особенно запустил (тебя даже хотели оставить на второй год и оставили бы, если бы не я).

И вот помню, как ты твердил эту теорему, ничего толком не понимая и лишь стараясь вызубрить ее наизусть, я же, лежа на спине и глядя в беленый до синевы потолок, думал о том, что дружба – это гипотенуза, а катеты – это любовь и ненависть. И весь фокус Пифагора в том, что вместе они образуют неразделимое целое.

Иными словами, дружба невозможна без любви, к любви же всегда примешивается хотя бы частичка ненависти. Это было мое открытие, возносящее меня на один пьедестал с великим Пифагором (я даже представил, как украсил бы мой скромный

мраморный бюст кабинет нашего директора Мустафы Альбертовича, тайно посещавшего мечеть потомком одного из двадцати шести бакинских комиссаров).

Конечно, я не мог (ведь у нас же все поровну) не поделиться моим открытием с тобой. Я взял с тебя клятву молчать и выложил тебе все. Я ждал, что ты в ответ умилишься и прослезись. Но ты меня выслушал, вежливо покивал, зевнул и ничего не понял – так же, как и в головоломке Пифагора. Ты всегда мыслил конкретно и не любил отвлеченностей.

Между тем у меня был пример, подтверждающий мою правоту. Наша с тобой дружба началась с того, что мы друг друга возненавидели.

### 3.

Возненавидели после того, как тетя Гюля, твоя мать, хворая, с одышкой и больными, распухшими ногами, выпиравшая из платьев, как тесто из кадучки, заподозрила мою матушку в том, что она вознамерилась увести ее мужа Джамिला, статного красавца и румяного усача. Увести, окрутить и на себе женить, поскольку сама была брошенная и разведенная. Ради этого она якобы даже продала мой аккордеон, чтобы вырученные деньги отнести бабушке Захре, гадалке и колдунье со слезящимися глазами и пиратской серьгой в ухе, и упросить ее навести порчу на всю вашу семью (у тебя еще были младшие сестры – *мамзели*, как ты их звал, и старший брат).

Это была чудовищная клевета. Аккордеон мать действительно продала, но деньги никому не носила, поскольку нам и так было не на что жить. Отец, уходя, нам ничего не оставил, кроме дырявых башмаков, сама же мать продавала газированную воду на бульваре (с сиропом – четыре копейки, без сиропа – копейка) и зарабатывала шестьдесят рублей в месяц. Еще она вечерами мыла пузырьки в аптеке, и руки у нее покраснели и покрылись пятнами от ядовитых, разъедающих кожу смесей.

Покупая мне на последние сбережения трофейный немецкий аккордеон, мать рассчитывала, что не прогадает. Меня будут приглашать на свадьбы, именины, юбилеи и прочие празднества тех советских времен, и аккордеон вдесятеро окупится. Во всяком случае, она на это надеялась. Ей казалось, что с ним-то уж я смогу хорошо заработать. И у нас наконец заведутся денежки на дне старой кондукторской сумки (мать когда-то продавала билеты в трамвае), предназначенной для того, чтобы *откладывать*, хотя откладывать было нечего, и сумка пылилась где-то за диваном.



– А ты жди... – Он поставил стакан и вытер ладонью усы: шутка удалась. Шутка была дошучена.

## 5.

Вот отсюда и понеслось, что моя мать собиралась увести у тети Гюли ее мужа Джамия.

Разговор моей матери с Джамилем слышала нянька начальника буровой Якуба, гулявшая с его детьми на бульваре. Она была татарка, из Барнаула, и обладала удивительной способностью все перевернуть и переиначивать, искренне веря в то, что говорит чистую правду. Она и поведала тете Гюле о *бульварном* разговоре, истолковав этот разговор по-своему и употребив для этого всю силу своей неукротимой, изощренной фантазии.

Тетя Гюля была поражена. Лицо ее покраснело, пошло пятнами и от нервного зуда покрылось крапивницей с волдырями. Припадая на больную ногу и охая, она выбежала из дома. Вся заколыхалась, завохотала, закудахтала, запричитала, повторяя: «Горе мне, горе! Пропала я пропала! Ой, помогите!»

Ее окружили; из всех окон разом высунулись головы. Стиравшие белье молодые мамы зачарованно выпрямились над корытом и стряхнули с рук пену. Чинившие матрас старики отложили молотки и вынули изо рта мелкие гвозди. Мальчишки, собиравшие вызревший тутовник, вытерли о майки красные от ягод руки и рядом уселись на нижний сук. Уселись, глаза сверху на цирковую потеху.

Кто-то из дворовых пацанов свистнул в два пальца, гикнул и крикнул: «Тетю Гюлю обшмонали!» – а там уж подхватили и понесло.

Весь двор заглатывал и смаковал сладкую дынную мякоть будоражащих слухов. Весь двор возмущался, негодовал, осуждал мою мать, замолкая при ее появлении, а затем все больше распаляясь, осыпая ее ругательствами и угрозами.

Мать, зажав ладонями уши, вбегала в комнату, закрывала на засов дверь и, прислонясь к ней спиной и затылком, так и стояла, словно неживая, – не решалась пошевелиться. Я, забившись в угол, со страхом на нее смотрел. Мать тоже смотрела с ужасом, но не на меня, а на вещи, лихорадочно соображая, как быть, если ворвутся и начнут громить, что наскоро засовывать под диван, что выносить через черный ход, что прятать в подвале.

Наконец она не выдержала, набралась решимости и вышла, так крепко держа меня за руку, что я весь извивался, дергался и корчился от боли (откуда-то

у матери взялась такая сила). Все снова замолкли, и только чей-то голос в гробовой тишине произнес: – Зачем вы, армяне, к нам приехали?..

Эту фразу я надолго запомнил. Раньше я таких фраз не слышал, да и не было в нашем дворе *армян* – точно так же, как не было *азербайджанцев*. Были все мы, живущие вместе, рядом, одной семьей. И никто из нас ниоткуда не приезжал, а все здесь родились. Вместе – всем двором – справляли ноябрьские и майские (праздники), гуляли и веселились на свадьбах, поминали после похорон.

Вместе танцевали под патефон и, когда показывали футбол, выносили во двор телевизор с самым большим экраном и линзой. Если подолгу не спадала жара и ночью было нестерпимо душно, спали во дворе на топчанах и раскладушках.

И вот теперь *они* появились – вместе со всем тем, что их разделяло. Разделяло на два лагеря, два враждебных стана, готовых двинуться друг на друга.

И ты, прячась за тетю Гюлю, свою ревнивую и заполошную мать, смотрел на меня волчком, с ненавистью – как на врага. И я, твой враг, ошерившийся, затаивший злобу волчонок, отвечал тебе такой же ненавистью.

## 6.

*Скоро вас поднимут в атаку, и вы перебежками... пригибаясь к земле... прячась за бронетранспортеры, уцелевшие стены домов, наполовину сгоревшие, обугленные деревья... будете приближаться к нашему окопу. Сжимать нас в кольцо. Затягивать на шею веревку, словно у щенков – тех, кого отловили, кому не спастись от живодерни.*

*Ах, как бы тебе хотелось ворваться в наш окоп первым! И ты ворвешься, поскольку всегда был ловец, гибок, как вьюн, увертлив и проворен. И уж если с кем-нибудь сцепишься, то уж точно – повалишь, заломив за спину руки и сядешь на него верхом.*

*Вот и меня ты наверняка прикончишь, ведь я всегда уступал тебе в смелости, ловкости и силе. Возможно, ты меня не узнаешь в моем камуфляже или постарайся сделать вид, будто не узнаешь. Я для тебя – как все. Враг! Так тебе будет легче прошить меня очередью или с размаху – разом! – отсечь мне дурную башку саперной лопаткой.*

*Отсечь, насадить на штык и с гордостью победителя поднять над головой, потрясая ею в воздухе, гордясь и красуясь перед всеми. И при этом вся твоя орава будет в восторге, ты услышишь одобрительные возгласы, гул ликования.*

*Вот еще одна армянская собака подохла!*

*В бою вы жестоки и беспощадны, какими бывают заматерелые вояки и необстрелянные дохляки новобранцы. Эти – от бесстрашия, презрения к жизни и смерти, те – от страха и дрожи в коленях. И что самое грустное, так же жестоки и мы, и в состоянии охотного бешенства, страсти и восторга я бы мог поступить с тобой точно так же: отсечь и насадить.*

*Вот до чего мы дошли, в кого мы превратились. Хотя чему удивляться, ведь на дворе девяносто первый год, война...*

7.

Вскоре недоразумение разрешилось, глупую нянюку выругали и отчитали, все успокоились, и мы с тобой вспомнили, что живем в одном дворе, и снова подружились. При этом нам сначала было неловко и стыдно за нашу – пусть даже ненадолго вспыхнувшую (полыхнувшую, словно нефтяной факел) – вражду. Мы оба недоумевали, как могло случиться, что мы, словно по чьей-то злой воле, поддались ужасному наваждению. Нам хотелось смыть это постыдное пятно, друг перед другом оправдаться, но как?

Просто забыть и не вспоминать? Этого было мало, да и не получилось бы у нас – забыть. Чем больше бы мы старались, тем навязчивее нам все напоминало, что мы именно стараемся, пыхтим, тужимся и из этого ничего не выходит. Мы же стремились во что бы то ни стало избавиться от своего стыда, и из-за этого стремления наша дружба превратилась... в любовь.

Вот тогда-то я не мог провести и дня, чтобы не позвать тебя: «Вагиф!» – и ты, единственный из трех Вагифов, безошибочно откликнулся на мой зов.

Началась чудесная, безоблачная пора нашей дружбы. Теперь нас сближал не двор, хранивший хмурую память о недавнем недоразумении, а весь наш дивный, сказочно прекрасный город, Жан Баку, как мы его называли, и прежде всего, конечно, море.

Лиловое в утренней дымке, апельсинно-красное на закате, иссиня-черное ночью, когда нет луны и лишь светят – остро мерцают – звезды, при лунном же свете – магниевое-фосфорическое, гелиотроповое, оно влекло и манило нас, очаровывало и завораживало.

Мы часами сидели на днище перевернутого баркаса, глядя вдаль. Мы были отличные пловцы и бесстрашные ныряльщики. С разбега мы подныривали под накатывающую тяжелую волну с пенными гребешками, чтобы вынырнуть уже тогда, когда она окажется за спиной. И тут же, набрав воздуха, ныряли под следующую...

Накупавшись до тошноты и озноба, грелись у костерка, разведенного из сухих колючек, и смотрели на белешивые – сиявшие белизной у причала – большие пароходы.

На берегу у нас было четыре места (не хочу называть их пляжами): Шихово, Бузовны, Пиршаги, Мардакяны. Там мы валялись на песке до самого вечера, до мерцавших в темноте огоньков медуз – волшебного зрелища, которым мы не уставали любоваться.

И конечно, мы обожали нашу шикарную набережную, где жарили каштаны и шашлыки, где суетился фотограф со своей треногой, гуляли нарядные дамы и веяло какой-то далекой, неведомой, несбыточной жизнью.

Отблеском, отсветом, призраком этой жизни был блиставший вечерними огнями кинотеатр «Низами», куда мы старались прошмыгнуть без билета, но нас чаще всего хватали за шкуру, выкручивали ухо и пинком вышибали на улицу. Но иногда удавалось – и прошмыгнуть, и выпить на двоих кружку пива (если в кармане брэнчала мелочь). Удавалось даже отыскать свободное место – крайнее в заднем ряду: его никто не занимал, поскольку из-за колонны было плохо видно. Мы же ухитрялись увидеть все и сидели на нем по очереди, а когда уставали стоять, то и вместе, разом, на коленях друг у друга.

Но еще больше любили мы цирк, где твой старший брат Джафар играл в оркестре на контрабасе, поэтому мы там были свои люди, всеми признанные, фартовые пацаны. Стоило тебе небрежно бросить билетеру: «Я брат Джафара» (ты к тому же был на него похож), и нас почтительно пропускали.

Мы замирали от восторга, смеялись и тайком вытирали слезы, когда всадники показывали чудеса джигитовки, фокусник распиливал в ящике свою преданную и доверчивую ассистентку, не издававшую ни единого стоны, косматый лев с раскатистым рыком прыгал через огненное кольцо и клоуны дубасили друг друга по голове чугунными гирями. Мы же были счастливы, и от этого головокружительного счастья нам хотелось клясть и признаний.

Тогда я шептал тебе в ухо, что никогда тебя не предаю, и ты мне в ответ клялся, что если будет война, ты будешь воевать за меня. Какая война, мы толком не знали, но нам смутно мерещилось что-то такое же, как в телевизоре или на экране кинотеатра «Низами». Там вечно рубились, строчили из пулемета, при гробовом молчании, без единого выстрела шли в психическую атаку (эта сцена сводила нас с ума). И твоя клятва означала, что ты будешь за меня даже в том случае, если я, по примеру Рыжего Басмача, подамся к белым, а ты – к красным.

Не сдержал ты клятву, Вагиф, как и я свое обещание. Всё в мире оказалось изменчивым, зыбким, неппрочным. Только война нам не изменила, явилась, как призрак, и осталась с нами навсегда...

8.

Но пока еще никакой войны нет – нет ни Сумгаита, ни Степанакерта, ни призывных митингов, ни погромов, ни разбитых стекол, ни выпотрошенных перин, а есть девочка по имени Софа, красавица с черными косами, горячка и зазнайка.

Она носит белую панаму, защищающую от солнца, и связанные бабушкой наколенники (бережет колени). У нее в кармане зеркальце, а на правой руке – маленькие часики, хоть и детские, но настоящие, показывающие время (купленные явно не у нас, не в магазине Самвела, а откуда-то привезенные).

Софа Амбарцумян – мы оба в нее влюблены...

Софа жила в соседнем дворе, и мы ее долго не замечали. Выходила во двор она редко и только с няней, высохшей старухой, носившей шаровары и тубетейку, и играла под своими окнами. Ближе к обеду окно открывалось, в нем мелькала чья-то тень, и ее звали домой: «Софочка!» – и няня ее тотчас уводила.

«Софочка, фочка, фишочка!» – передразнивали мы с ломанием и кривлянием, чтобы тотчас забыть и эту дразнилку, и ту, кому она была адресована.

Вскоре Софа вообще перестала выходить во двор, поскольку ей неудачно удалили гланды и врачи боялись осложнений. Она сидела на балконе с перевязанным горлом и благостно, томно ела мороженое, которое ей покупали в больших количествах, поскольку так велели врачи.

Она брала мороженое маленькой серебряной ложечкой, зачем-то дула на него, долго держала во рту и зачарованно проглатывала. При этом вытирала губы платочком с кружевной каймой, хотя алые следы от клубничного мороженого все равно оставались у нее в уголках губ, на щеках и подбородке, что придавало ей выражение удивленной беспомощности и подкупающей наивности.

Вот тогда-то мы ее наконец заметили. Более того, мы смотрели на нее с восторгом и немым обожанием. И это обернулось катастрофой, поскольку ни я, ни ты не знали, как совместить море, набережную, кинотеатр «Низами», нашу восторженную дружбу с внезапно охватившей нас любовью к этой противной девчонке.

Девчонке с удаленными гландами, перемазанной мороженым, нашей будущей насмешнице и повелительнице.

– Дай попробовать, – попросили мы, вставая на выброшенный кем-то стул со сломанной спинкой, чтобы дотянуться до ее балкона (балкон был низкий, каменный, с большим выносом).

– Не дам. Это мне купили.

– Что тебе – жалко?

– Говорю, не дам. Не приставайте.

– Ну, хотя бы чуть-чуть. Не жидись.

– Уйдите, я сказала. Вы оба грязные.

Так закончилась наша первая попытка с ней познакомиться, и мы не только послушно стерпели насмешку, но, что было совсем уже глупо, бросились отмываться под дворничским шлангом, тереть колени, плечи, бока и спину, словно на них налипли тонны грязи. Она же, глядя на нас, покатывалась со смеху, откидываясь на спинку стула и закрывая рот пуцовой ладошкой.

Тогда ты не выдержал, обозлился, решил отомстить и сказал:

– А ты зато вовсе не Софа.

– Кто же я? – Она еще не знала, какой ответ ее ждет.

– Ты не Софа, а софа, и все на тебе будут лежать.

Как тут ее перекосило! На секунду она застыла в немом изумлении, округлила свои прекрасные, черные, с гранатовым отливом глаза. А затем черты ее исказились, рот скривился, нижнюю губу оттянуло, из глаз брызнули слезы, и наша Софа (она же софа) с презрением выкрикнула:

– Дураки! Придурки! Дряни! Вы мне омерзительны! Я на вас пожалуюсь папе! Тогда узнаете!

– Что мы узнаем? – спросил я на всякий случай, хотя не очень-то испугался.

– Где раки зимуют – вот что! – фыркнула Софа.

9.

Софа исполнила угрозу – пожаловалась отцу. После этого она стала смотреть на нас с мстительным торжеством и притворным сочувствием, как на приговоренных к самой страшной казни. Однако дни шли, а обещанная казнь не свершалась, что давало нам повод каждый раз с невинным любопытством спрашивать, проходя мимо ее балкона:

– Ну, и что твой папа? Где же он? Папа! Папа! – Мы рупором складывали у рта ладони. – Испугался?

Это было дерзостью, на которую Софа тем не менее отвечала удовлетворенно, с приятной, многообещающей улыбкой:

– Ага, испугался, весь дрожит... Подождите, мальчишки. Потерпите до выходного.

В воскресенье ее отец велел нас привести. Софа сказала нам об этом с обреченным, жалостным вздохом, словно спасти нас уже ничто не могло:

– Велено вас привести. Только не забудьте вытереть ноги, мальчики: у нас дорогой паркет. Да и не мешало бы вам, мальчики, ботинки почистить. – Она намеренно отвернулась, чтобы не смотреть на наши пыльные ботинки.

Мы не решились ослушаться, поскольку знали, что отец Софы – важный чин, носит фетровую шляпу, шьет костюмы у дорогого портного, приглашает парикмахера на дом. К тому же и его возят в автомобиле с кремовыми занавесками на окнах. Поэтому мы затянули потуже ремни (это казалось нам признаком респектабельности) и, сорвав лопух, покорно смахнули им вековую пыль с ботинок.

И вот Софа нас привела, словно арестованных под конвоем. В полутемной прихожей тускло мерцало зеркало. Она велела нам причесаться, поступалась в кабинет отца и доложила с безучастным высокомерием:

– Они – здесь.

А когда он вышел, добавила:

– Отругай их как следует и задай им по первое число.

Добавила так, словно первое число упоминалось в доме часто, привычно и по самым разным поводам.

– Сейчас, сейчас, – пообещал он, и нам стало ясно, кто в этой семье приказывает, а кто – выполняет приказы.

Отец Софы изучающе посмотрел на нас сверху вниз. Посмотрел и сделал кое-какие выводы. Затем он присел на корточки, поставил нас перед собой, как болванчиков, поднес нам к носу большой кулак с белесыми волосинками на сгибах пальцев и спросил (для порядка):

– Чем пахнет?

Спросил и сам себе ответил (отстраненно возвестил куда-то в пространство):

– Смертью пахнет.

Помнишь, мы с тобой изрядно струхнули? Колени у нас ослабли и ноги сделались ватными. По спине холодной струйкой пробежал пот. Сейчас это кажется смешным, но тогда от испуга мы чуть не наложили в штаны, уверенные, что это конец и нам придется расстаться с жизнью.

Но к нашему облегчению выяснилось, что он большой шутник, ее драгоценный папа, к тому же любит ребячиться и показывать, что способен говорить с детьми на их языке.

Вот он и решил нас немного попугать. Хотя на самом деле был добрый и тотчас же принялся ми-

рить нас, уговаривать, чтобы мы не ссорились с дочерью, а были рыцарями и защищали ее во дворе.

После этого усадил нас всех за стол, налил чаю, принес коробку бело-розовой пастилы, сдвоенное печенье с кремом посередине, какое не продавали в магазинах, обсыпанный сахарной пудрой рахат-лукум и произнес:

– Ну, набрасывайтесь. Сметайте.

Затем проводил в детскую комнату, чтобы мы там поиграли, только при этом не слишком шумели, потому что он – работает.

И тихонько закрыл за нами дверь.

## 10.

Мы остались одни с Софой, нашей дамой сердца (если мы рыцари, то она – дама), и это показалось страшнее, чем любые кулаки, пахнущие смертью. Мы растерялись, смутились, не знали, что сказать, – только отчаянно улыбались, словно без улыбки могли вообще провалиться в тартарары.

Видя, что от нас толку не добиться, Софа сама взялась нами руководить.

– Ну, мальчики, во что будем играть? – спросила она так наигранно и зловеще, что стало ясно: чувство мести в ней еще не удовлетворено. – Может быть, в тахту или софу? – Она посмотрела на нас невинно, но с неким затаенным умыслом. – Хотите?

И тут ты задал глупый вопрос, оказавшийся для нас же ловушкой:

– А как это?

– Что – как? Играть в софу? Очень просто. Неужели вы не знаете! Сейчас я вам покажу. – Она легла на ковер, поправила на коленях юбку и вытянула ноги. – А теперь вы на меня ложитесь. Смелее, ведь я же софа. Вы меня так называли, помните? Вот у меня валики, вот – подушки, вот – ножки с колесиками, а внутри – пружины. Слышите, как они скрипят? Ну, кто первый?

Никто из нас не решался лечь на софу. Тогда ты предложил:

– Лучше будем играть не в софу, а в тахту. Пусть этот ковер будет тахтой.

– Нет, мальчики, в тахту неинтересно. Вот в софу – это настоящая игра. Ну? Я вам велю лечь на софу. Я вам приказываю.

Мы молчали, мечтая лишь о том, чтобы поскорее сбежать и при этом не осрамиться, опозориться окончательно.

– Что же вы? Не хотите? Ах вы, дряни! Придурки! Дураки! Уходите вон! Вон отсюда!





